

ОБЩЕЕ внимание отдано сейчас не литературе современников, а самой жизни. И по праву: ее внушения глубже, интереснее, ярче; именно они теперь подлинно «власть имеющие». В наши дни выиграть спор с жизнью не удается пока ни одному из писателей. И это понятно: здесь — в картинности, разнообразии, быстроте движения и смене, в неотступности — действительность вообще непобедима. Ведь художник всегда побеждал иначе, иным: глубиной осмысления, высотой взгляда, сопряженных в самородном образе. Вообще тайна верховной власти в литературе — это свет общего для всех идеала, владеющего душой художника, идеала, пронесенного из прошлого через свое время в будущее. Так что сам факт нынешней состоятельности, спора с действительностью уже предельно грустен, ибо в первую очередь свидетельствует о катастрофическом оскудении смысла и понижении духа художественности.

М. Меньшиков еще в начале века предупреждал, что литература утрачивает свое могущество, свою духовную власть над обществом. И теории элитарно-индивидуального чтения — для круга (или кружка) избранных — неизбежное следствие этой утраты. Художник уже не властитель дум, а потакатель массовым (или индивидуальным) вкусам — кумир толпы или глава секты.

Я уж и не говорю о тех или иных партийных литераторах, пророчески избранных еще Н. Лесковым. Они сейчас прямо повторяют за его героем: «...я, плезде всего, цестный целовек и говолю плявду. Я говолю всегда плямо... Я плямой настоясий луский целовек... Мне тепель одному делать нецего: я собилаю палтию и плисол вас плосить: составимте палтию».

В РУСЛЕ текущей словесности сейчас неодолимый напор мелкой беллетристической шушеры — политического лубка и дешевой мясистой клубнички. Они дождалась наконец своего коммерческого праздника. Здесь формируется уже не читатель, а покупатель, не издатель, а продавец, не книга, а товар... Отсюда и бесстыдный рекламный гвалт: «Смотрите, кто пришел!» — Хватит! Насмотрелись. Читать-то, как выясняется, все равно нечего...

Хрен оказался не слаще редьки: что оседлые генералы соцреализма, что странствующая элита. Лучшие из которых — в сторону политику! — просто напросто литераторы.

А на Руси, как известно, не привыкли высоко ценить чтиво.

Любимую книгу — Евангелие — читали жизнью.

И создавали — классику — жизнью, судьбой, а не перышками по бумажке. Так было, так есть и так будет...

Лучшее в русской литературе все «на духе Православия, основе великопленной культуры нашей, — отсюда-то и глубина, и сложность русской души, — от православной купели, дарующей величайшее — духовную свободу. Отсюда и сила нашего искусства, литературы. Отсюда — Пушкин. На реформы Петра Россия ответила Пушкиным... — Герцен, кажется, сказал. Я это, — писал И. Шмелев, — опроверг решительно: на Крещение в Православие Россия ответила — несравнимой ни с чем культурой... и Пушкиным. И русская литература не из голубевской «Шинели» вышла, как хлестко заявил невер Белинский (так у И. Шмелева. — П. Г.), а и сама «Шинель», это «жаленые маленького человека», вместе со всей художественной словесностью русской вышла из... той же православной купели...»

У подавляющего большинства современников — при явных талантах —

остро не хватает чувства ответственности. Между тем дух — это именно свойство ответственности. И ценность человека, его творчества измеряется не величиной отпущенного ему дара, а мерой его ответственности перед Дарителем и дарованием. Этим определяется и направленность таланта. Речь идет не о прикладном умении, не о специальных способностях к ремеслу писателя, а именно о духовном таланте: о призвании души, ее заботе, о собственном и общем спасении, разумеется, благодаря исполнению всего, что даровано ей.

Ведь вот: как ждали у нас А. Солженицына! А он вместо себя... статью прислал.

Разве Россия статью ждала? Какой бы, кстати, умной и правильной — внутри себя — она ни выглядела. И разве какой бы то ни было «автор статьи» нужен был России?

Павел ГОРЕЛОВ

Одиночный замер, или Возвращение Варлама Шаламова

Народ ждал человека, которому бы смог поверить как своему, узнать его как своего, выживающего среди наших действительных болей, нужды и бед, с нами вместе, нашей жизнью, и которого поэтому мы могли бы послушать, послушаться.

Я-то верю, что вовсе и не писатель нужен сейчас моей родине, а «благодатный воспитатель русского народного духа и государства» (как назвал в свое время В. Ключевский святого Сергия Радонежского). Не случайно, а прообразовательно духовным отцом государственного мужа Ярослава Мудрого был митрополит Иларион — в этом видится правильное соотношение духа и мирской власти.

Россию, заметьте, неумоимо хотят повернуть к самому началу ее тысячелетней истории: навязать ей **новый выбор веры**. Но Россия уже «откуда пошла и есть» выбрала — в лице своего святого равноапостольного великого князя Владимира — выбрала Свет Христов, однажды и навсегда.

«Вот маяк, по которому — пусть сбиваясь, — направила свой путь Россия» (И. Шмелев).

Кстати, великая Россия возникла и выросла без отрыва от жизни Церкви, как святая Русь. И именно их разрыв, а еще России мыслящей и России благочестивой с роковой неизбежностью привел к России, кровью умытой.

Так что стойте и держите предание — это вечный нам всем завет. Только

вот по силам ли он современной литературе? Или она окончательно вырождается в «чтение»?..

НЕ ЛЮБЛЮ слово-не-сочетания «литературный процесс», звучит как «художественный гастрит». Но движение русской словесности, разумеется, никогда не останавливалось. Направление же ее развития задано классикой: «жизнестроительное слово», духовный реализм, выработка будущего цельного мирозерцания, сохранение и продвижение общего идеала в новой действительности. Так что будущая дорога русской литературы ясна, а что касается дебрей, боковых тропинок, бездорожья, личных исканий странников, спринтеров авангарда, стайеров застоя, маркитантов, всякой околословесной братии — это малоинтересно.

Жена Л. Толстого с ужасом рассказывала об одной провинциальной постановке «Анны Карениной»; в финале на сцену по смелому замыслу режиссера выехал самый настоящий паровоз. Дерзкое новшество было встречено таким неистовым шквалом аплодисмен-

тов, что очумевший от неожиданного успеха машинист вдруг восторженно дал задний ход и... «снова произвел подавление».

Кажется, и сейчас в литературе мы аплодируем тому же самому. Настоящих имен в ней единицы, но, слава Богу, они еще есть. Попробуйте, например, «просто почитать» В. Шаламова. Это невозможно, так же как «просто написать» такое. Здесь мало отъехать за рубеж в вельветовых тапочках и с апельсинком в лапе.

Честный работник Ю. Буртин легко оспорил интеллектуальное пижонство В. Ерофеева: что и говорить, отдельных произведений, вполне достойных, за 70 лет было написано немало. Но дело совсем в другом: кто и чем продвинул через нашу текущую действительность в будущее общий идеал русской классики?

Ведь безусловно прав был М. Булгаков: после Л. Толстого в русской литературе нельзя делать вид, будто никакого Толстого не было.

Помню, как точно и трезво сумел оценить себя самогс Е. Евтушенко. В доме-музее на станции Астапово он, потрясенный, стоял в скромной комнате, где скончался Л. Толстой. Железная кровать, стул, стол; углем на обоях — смертный профиль писателя, а сама стена — почти сплошь — записана безыскусными клятвами молодых бойцов, эшелоны которых шли на фронт через эту станцию... Стихотворец простоял там

один нетеатрально долго и вернулся — скомоканный. Кажется, в рифмах он о пережитом никогда не писал, а значит — и не лгал, когда мелким, исчезающим почерком отметил в почтительно подсунутой ему книге посетителей: «Евг. Евтушенко. Литератор. Москва».

Мы взрастили чудовищную армию кормящихся при литературе — и молодых, и старых. Не могу без омерзения ходить в «гадюшник» ЦДЛ и видеть там «спасителей России»: ни тех, которые получают по очкам, ни тех, которые дают. Вообще шагать одной левой или одной правой на деле означало бы просто инвалидность. Тем не менее в обе деревни, где живут эти одноногие, неукошительно требуется ходить только на одной ноге. И я все чаще думаю, что нам надо не примирять их, а просто-напросто обойтись как без левочелночной элиты, так и без правочелночных мастеров «русской идеи». Ведь пути России — прямые, Божьи...

Когда ж противники увидят С двух берегов одной рени, Что так друг друга ненавидят, Как ненавидят двойники?

Справедливо шутил герой Н. Лескова: «Они давно все друг про друга сказали. И все еще живут!»

А между тем вновь осуществляется одно из самых точных и жутко-незамеченных пророчеств: первозданный зверь (апокалипсический), развязанный от бесплотных, тонше воздуха, связей веры и нравственности, вырвался на волю и терзает жизнь. И у этого зверя глаза наливаются кровью...

Для ТВЕРДЫХ ориентаций нам необходимо постоянное честное различие творчества и ремесла. Художественность и мастерство, по заповеди Пушкина, — Моцарт и Сальери. Мастерство предполагает повторимость, творчество — уникально. Художник создает, а не мастерит. Он — творец, мастер-делатель. Для художника его творчество — это жизненная задача, жизнь во всей ее полноте; для мастера — это работа над произведением, а жизнь — лишь «подножие искусству».

Для мастера вопрос «как?» обособляется в самостоятельную задачу. Для художника он не существует вообще. Заостряя, можно бы сказать, что появление мастерства как такового, самого по себе, означает смерть художника.

Шаламов истребил в русской литературе последние остатки литературности. Он показал нам пределы нечеловеческого в человеке, заглянув даже за ту границу, где уже ничего человеческого нет в человеке.

«Он поделился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ни с кем ничем не делился». Шаламов не только дожил до этого времени, но и пережил его...

Слова официального «представителя», адресованные исключительно лагерникам, «людям, окруженным конвоем», слова, завершающие антироман Шаламова «Вишера», неожиданно оказываются предназначенными и для всех: «...Вам нет назад дороги».

И ее действительно нет и никогда не будет. Теперь — ни у кого. И. Шмелев оказался прав: русский народ в XX веке — народ, да не тот. Но Шаламов вопреки всему — вернулся. Только не «назад», а домой: к отцам, Отечеству, Отцу.

Многословие для Шаламова — просто ложь. Ему «единого слова ради» приходилось изводить уже не «словесную» (а только такую и можно было изводить условными «тысячами тонн»), а вполне натуральную руду.

«Не спеша, подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, по «Запискам Марии Волконской» — три пуда руды на человека.

— А сколько, Василий Петрович, висит ваша норма? — спросил Федяхин.

— Я посчитал — 800 пудов примерно.

— Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...»

И они действительно выросли. Сейчас «одиночный замер» в литературе не поставим даже с толстовскими масштабами. XX век исключительно повысил, а вовсе не понизил требования к художнику.

Вряд ли здесь уместно то возражение, что, мол, мир Шаламова ограничен колючей проволокой лагеря.

К несчастью, нет. Шаламов отвечает нам тихо, но от его шепота не хочется жить:

«Лагерь — мир подобен».

«Русский алмаз» и «Людочка» В. Астафьева — последние яркие подтверждения этого. Впрочем, нам, в этом лагере давно живущим, разве нужны еще и литературные подтверждения...

Неприметно, иногда почти мимоходом, но свет шаламовского возвращения коснулся всего. Остановлюсь здесь только на мелочах, но и они достаточно показательны.

Вот, например, Есенин. Оказывается, помимо всего прочего, это еще и единственный поэт, который признан и канонизирован уголовным миром.

Всё. Шаламов больше не пустословит и не предлагает дешевых выводов, он предлагает нам нечто более трудное — остальное понять самим.

А вот лаконично изложенное впечатление автора от встречи с Ахматовой, которая рассказывала, как она в поездке за границу «ни на шаг не отходила от посольства, опасаясь, как бы чего не вышло. «И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что боится: «в следующий раз не устоят» — следующего раза в семьдесят лет не ждут, — а просто отвыкла думать иначе».

Шаламов и здесь ничего специально не подчеркивает, не напрягает излишне голоса, но разве в этом есть необходимость?

А чего стоит поучительная сценка в камере Бутырской тюрьмы в 1937 году, где один из заключенных искренне празднует 12 марта 1917 года — лучший день своей жизни — 20-летие свержения самодержавия! Ясно, что придет время, когда он будет отмечать такой же юбилей собственного заключения. Если доживет, разумеется...

Столь же кратко сказано и о «риторике Толстого», и о «бешеной проповеди» Достоевского, и о «сказках художественной литературы» в целом, и о сказках в частности, когда на современном детском рисунке «за плечами Ивана-Царевича висит автомат»...

Но всего не перечислишь...

Теперь, после Шаламова, мы твердо знаем: если что-то правда, то «все было просто». Если же было иначе, значит — ложь.

Утверждают, что Шаламов мрачен, беспросветен и совсем не говорит о вере.

Да. Но это немота подлинного благовестия. То, что дорого досталось, дешево не отдадут.

Он и правда не кричал, не избирался, не татуировался в православие за столиком в ЦДЛ. Это для тех, кому суждено выбалтываться.

Шаламов было о чем молчать. И это самое главное для настоящего художника. Как и для народа: «народ молчит».

Все правильно. Ибо Бог — услышит.